

О ежовских эстетках и бериевских костоломах, отце, работавшем с Аллилуевой, довоенных пирушках и послевоенном ГИТИСе

<http://oralhistory.ru/talks/orh-1663>

19 ноября 2012

Собеседник

Гаевский Вадим Моисеевич

Ведущий

Скляревская Инна Робертовна

Дата записи

Беседа записана 19 ноября 2012 и опубликована 2 октября 2014.

Введение

В первой беседе Вадим Моисеевич Гаевский — театровед, профессор РГГУ, автор книг о театре, театральной критике и балете — рассказывает о том, как группа одесской и киевской молодежи во главе с М. Кольцовым неожиданно приехала вместо белой Одессы в красную Москву, о своем отце, работавшем в редакции вместе с Надеждой Аллилуевой, о довоенных домашних пирушках, рассказывает драматичную историю Нины Зозули, от имени которой был написан донос на ее первого мужа, описывает детского психиатра Бориса Лебедева и вспоминает послевоенный ГИТИС.

Вадим Моисеевич Гаевский: У меня, как и почти у каждого мальчика из большой еврейской семьи, было много дядюшек и много тетушек. А среди них была любимая тетька, сестра моего отца, и любимая двоюродная сестра, дочь этой тети.

Инна Робертовна Складневская: А как их звали, вы тоже говорите, пожалуйста.

В.Г.: Нина.

И.С.: Нина это кто?

М.Е. Кольцов на Гражданской войне в Испании

В.Г.: Нина, или Нинка, как мы ее звали, это моя двоюродная сестра. Нинка. Ее фамилия Зозуля, она была дочка очень популярного в те годы, в 30-е годы, советского писателя Ефима Зозули, друга Михаила Кольцова. Кольцов — это создатель объединения «Жургаз», редактор журнала «Огонек», создатель этого журнала, постоянный корреспондент или доверенный корреспондент Сталина по «Правде», по заданию Сталина ездивший в Испанию, описанный под фамилией Каркова в романе Хемингуэя «По ком звонит колокол». Вернувшись из Испании, где он выполнял не только журналистские поручения, а вообще там очень многим распоряжался (это все знают), через какое-то время он был расстрелян. Он выполнил свое дело. А дело заключалось [в том], чтобы начать гражданскую войну и кончить ее. Потому что там по нашему приказу в самый неподходящий момент, в самый момент решающий, забрали так называемые интернациональные бригады, которые защищали Мадрид от франкистов. И они ушли во Францию, где они были интернированы, и вообще — была страшная судьба. Приказ Сталина: не воевать, не достигать победы. Ни в коем случае! Никто не понимал, что случилось. А действительно, [зачем ему] победа [там], где либерально настроенные. А это были большей частью интеллигенты, со всей Европы туда съехались в интернациональные бригады. Этим он ненавидел совершенно. И решил: ладно, пускай французы с ними разбираются. Они вынуждены были перебираться через границу во Францию, и во Франции они были интернированы. Часть попала к нам сюда и тут же попала в ГУЛАГ. Вот эта судьба. А Кольцов был репрессирован. А Ефим Давыдович [Зозуля] — это его товарищ по Одессе. Ну, они пользовались особыми благами, возможностями, и поэтому Нинка училась в лицее парижском. Приехала такая парижанка. Абсолютная! Она чуть-чуть была старше [меня] — предмет моего обожания многолетнего, и не только моего.

Н.Е. Зозуля и ее мужья

Она поступила в Литературный институт, потому что папа был писателем. Сама она никаких, по-моему, склонностей к литературе не имела, но зато она имела намерение как-то ярко прожить жизнь. И там возникла первая любовь, которая по тем временам, как ни странно, [окончилась браком] — это были уже 30-е годы, кончилось время свободы, [свободной любви], тут уже были браки — по разным причинам. Отчасти это связано с тем, что эти браки [давали] возможность уйти из своей семьи, повторить участь своих родителей, которые тоже все уходили из своих семей. Избранником ее был Юра, я его видел, хорошо помню. Поэт, значит, и учился он в Литературном институте, вместе с ней: она прозаик, а он как бы поэт. Их было тогда немного, это была такая единая группа. Ну, он как-то меня [восхищал] — я был мальчиком, десятилетним или одиннадцатилетним, и он такое производил впечатление! Обстоятельный, не [какой-нибудь] хилый интеллигент.

И.С.: Кто?

В.Г.: Ну, вот этот ее первый муж. И в 37-м году — значит, мне было сколько, меньше, — в 38-м году его забрали, и потом десять лет без права переписки, как тогда они получали. А она получила вот это извещение о том, что, как бы сказать, с ним покончено. Брак был у них очень скоропалительным и недолгим, поэтому она пришла в себя достаточно быстро. А кроме того, она вообще полна была

жизненных сил и такого обаяния. И она как-то [стала жить дальше]. По-видимому, [второй ее избранник] тоже учился там, и оттуда возник брак, более долгий, с Борисом Заходером, знаменитым нашим переводчиком. А у них там была дача, в Валентиновке, где собственно «Жургаз» и построил себе дачи. И это только моя мама, со свойственным ей легкомыслием, [дачу там получать] отказалась. Нам предлагали, но она сказала: «Нет, ой, это будут очередные какие-нибудь занятия...» Папа, который слушал всегда мою маму и который тоже дружил с Кольцовым, подчинился, естественно. При чем мы потом все время снимали дачу там же — там все родственники вообще [имели дачи]...

И.С.: Где это было?

В.Г.: В Валентиновке! Это за Мытищами, перед Загорянкой сделали. И там я первый раз увидел Бориса Заходера — такого огромного детину. Я очень любил вообще там бывать с Симой, теткой. Сима — это Серафима, певица, которая замечательно пела. И как он ее носил, Нинку, на руках в туалет. Как обычно на больших участках, туалет был где-то в углу, и он ее на руках туда таскал. Она такая хрупкая, тоненькое существо была, совершенно очаровательное. Когда после войны я его увидел, уже сам подросший, то оказалось, что я выше него ростом! Это было одно из главных потрясений моей жизни! А он остался, каким был, он приземистый такой, широкоплечий.

Но потом что-то там [случилось] — брак распался. Дружба — нет! Он женился на ее подружке, и это пара — самые любимые их гости, самые любимые, близкие люди совершенно.

И.С.: У кого?

В.Г.: У Нинки у моей. Она вышла замуж за архитектора, замечательного, конечно, Ну в это время он...

И.С.: Кто?

В.Г.: Иосиф, Иосиф. Автор, кстати говоря (я не знаю, сохранилось ли, мы там гуляли), на ВДНХ единственный был пристойный, более-менее европейский по стандартам, павильон Радиоэлектроники. Вот это он его автор.

И.С.: А как его фамилия?

В.Г.: Я забыл, Господи, вот вылетело из головы!

И.С.: Неважно.

В.Г.: Иосиф. Такая странная фамилия. А это спокойный человек, очень спокойный, очень красивый, но совершенно другой: не поэт, не переводчик, даже не такой поэт, как Заходер, тот очень бурный, а этот спокойный. И внесший в ее жизнь спокойствие. И отец их сына, который сейчас от всех этих бед сбежал в Америку, и следы его [для меня] потеряны. Это мой племянник, — есть такой, двоюродный. Со своей семьей где-то он там обитает.

Шло время, и они опять-таки там бывали, был совершенно такой замечательный, гостеприимный дом на Дмитровке, теперь она снова стала Дмитровка. Всегда была огромная собака, всегда застолье, вот мы все сидим, и между нами собака большая всегда. Только она не лезет на стол, но кладет морду всегда, ждет когда [ей что-то дадут]... В меру нахальная, в меру воспитанная. Весьма обаятельное [существо], тихая собака, большая. И вообще дом такой, хотя и громкий, но был очень гармоничным. И гармония рухнула, когда умерла тетя... Да, а отец [ее] погиб, пошел, как и все мои дядьки, как мой папа, сразу же пошли, как только началась [война], с началом войны все пошли добровольцами. Все не военнообязанные, всем за 50 лет, все никогда не воевали, не держали [никакого оружия]. Все кроме отца погибли, а отец сразу же получил не ранение, а контузию, очень сильную.

И.С.: А, так отец был на фронте?

В.Г.: Да, с первых дней, конечно! Контузию сразу же получил, его комиссовали, он поэтому единственный, кто и спасся — из всей большой компании. Первый раз я услышал, что там — какие танки, танки это не главное, — самое страшное это минометы, мины. Это я потом узнал, что это действительно так.

Уууууууу! Это самое — звуковое, шумовое сопровождение. Вот тогда миной его и контузило, и он — слава Богу, что он туда попал. А все эти три брата моего [отца], мои родные и неродные дядьки, все погибли. И мы много лет разыскивали их могилы, двоих нашли, а троих нет. Этих не нашли.

И вот начался период реабилитации, и Нина как единственная законная родственница вот этого Юры, этого самого поэта — вот я забыл, у него простая фамилия была, — была вызвана туда для ознакомления с делом. Оно было небольшим делом. Просто ей его дали, ничего не думая, и сказали: «Вы посмотрите и там распишитесь».

” И она ушла оттуда совершенно убитая. И это укоротило ей жизнь очень скоро. Потому что там было приложено, в этом деле, письмо-заявление, подписанное Ниной Зозулей, о том, что он занимался антисоветскими разговорами. Почерк был довольно хорошо подделан.

То есть последнее, что он узнал перед смертью, — что его предала его любимая жена. Нинка. Тогда — это [есть] у Солженицына, это его рассказ, что в начале НКВДшники были «эстеты». Потом стали эти самые — мясорубы, мясорубка потом стала. А тут кто-то значит вот так [поиграл]. И это одно из самых страшных таких событий. Там все страшно, но это такая маленькая подробность, которую я не могу спокойно даже сейчас говорить. После этого она... Ну как это можно, вообще как это можно было ей это дать, с другой стороны? А, это плевать. Вы только распишитесь, что вы там прочитали.

И.С.: А может быть, они думали, те, кто давал, что это действительно так?

В.Г.: Да нет, они там все понимали. Да, конечно, все понимали.

И.С.: В каком году?

В.Г.: Да я уж забыл, какой это год. Но вот когда она там...

И.С.: Но это тогда еще, сразу, [когда только начались реабилитации]?

В.Г.: Не сразу, нет, совсем не сразу, это было довольно еще долгое время. Там ничего кроме «ее» доноса не было вообще. Ничего не было, кроме «ее» доноса — так называемого «ее». И она начала жить с этим сознанием и долго не сумела. А когда она ушла, и Иосиф долго не сумел — он такой закрытый человек, он был очень любезный, очень живой, он [был] как бригадир таких ребят-архитекторов. Это было время самое страшное для архитекторов, они ничего делать не могли после войны. «Бумажная архитектура»... Но они как-то что-то делали, у них была бригада. Я приходил, видел их [проекты], лихие ребята совершенно, по-видимому, очень талантливые. Ну он тоже был... Я помню, присутствовал на [его] похоронах в МОСХе, это Союз художников, он был его членом. Потому что никого нет [из родственников с нашей стороны], вообще никого нет! Есть я, и [больше] никто его не знает; сын там стоял, который потом уехал. Очень молодые, они еще не старые люди, гораздо моложе, чем я сегодня. И вообще, полные жизненных сил совершенно. И пришедшие, чтобы прожить свою жизнь. Значит, убили одного, и с помощью этого убийства убили ее, то есть это было тройное убийство: Юра, Нинка и Иосиф, ее муж. Триста процентов значит. Как это называется? Коэффициент полезного действия — триста процентов. Это было выполнено хорошо — тройное попадание. Трехсотпроцентное — трехкратное. Ну вот.

” Когда мы говорим: репрессии страшные — действительно это все страшно. Но самое страшное — это отдельные индивидуальные судьбы!

И.С.: Да.

В.Г.: Это страшнее всего этого потока, всего этого, что мы называем «репрессиями». Каждая индивидуальная судьба страшна и каждая судьба должна воздаться, но не воздается совершенно никому — тем, кто это сделал. Эти люди, которые подделали почерк, они сами, конечно, получили — через год их не стало, разумеется. Которые допрашивали, они все [попали туда же] — там была смена, очень быстрая такая, и потом уже вообще, потом уже, насколько я понимаю, перед самой войной вообще это никого не заботило, есть ли там или нет какое-то ...

И.С.: Какое-то заявление?

В.Г.: Есть ли какое-то... Да, Господи, это...

И.С.: А это какой год?

В.Г.: Не помню!

И.С.: Ну примерно...

В.Г.: 38-й.

И.С.: 38-й.



Борис Заходер

В.Г.: 38-й, тридцать... ну, пик ежовщины — пик. А потом вместе с Ежовым ушли вот эти «эстеты», а появились бериевские, палачи совершеннейшие, костоломы, как их называл Солженицын. Это уже такие совершенно дикие. Но это был постоянный набор из комсомола, он, как и комсомол, менялся...

Оттуда же туда приходили. В начале были какие-то полные идеалисты, люди, очень увлекавшиеся и тем, что они при власти, что они наделены особенными полномочиями. Это была романтика в свое время — даже если сажать кого-то. У них тайная жизнь, ночные поездки, ночные посадки. Ночные допросы. А потом они просто уже начали... Палачи и садисты были не сразу, а сразу были такие вымогатели, действительно, играли в игру некоторую. Ну да, «эстеты», как их назвал Солженицын. И Нина пала жертвой вот этого «эстетства». То есть, даже не столько Нина, сколько вот этот Юра. Юру я один или пару раз видел, но поскольку я Нину обожал страшно, то значит, я относился с большим пиететом ко всем ее трем мужьям. Из них, значит, нет ни первого, ни Заходера — его тоже давно нет, а жена его — это Нинкина приятельница. Вот так как-то они разошлись, не рассорившись, без всяких ссор, обид... Но там вообще было — как бы сказать? — дополнительное отягчающее обстоятельство, эта их легкость прирожденная. Они все были легкими людьми.

И вот такая у них биография, легких людей судьба все время наказывает особенно жестоко. Потому что у них нет способности долгого внутреннего сопротивления. Потому что тяжелые люди — у них есть что-то такое, какой-то свинец тут вот, как у куклы, чтобы они не падали. А легкие — они как-то сразу... Такие вещи как развод, переход к другому, это вообще легко, поскольку она парижаночка была, она — раз! Спокойно к этому относилась. И встречались — я бывал на днях рождений и все там они собирались совершенно... целовались... абсолютно [легко]. Иосиф это все [спокойно принимал]. Я не знаю, что он думал, он был неразговорчивый человек, потому что эти-то все говоруны были. Естественно, шум: шум, остроты там, всегда писались поздравления в стихах — обычные все эти шутки. Шошенский — вот его фамилия, я вспомнил!

И.С.: Как?

В.Г.: Иосиф Шошенский.

И.С.: Шошенский.

ВДНХ

В.Г.: Шошенский. Интересно, есть ли он в интернете, осталось ли... Он одну вещь сделал замечательную — это вот этот [павильон на ВДНХ]. Действительно, он резко выделялся, там же все было очень, так сказать, под стили этих республик, да, а этот павильон был в стиле сделан, а la какого-то технического прогресса будущего, все-таки [павильон] радиоэлектроники, он так назывался, которая только входила в нашу жизнь. Он был строгий по сути, совершенно никаких там узбекских, ни киргизских мотивов, никаких там коров, телят, телятниц и коровниц — никого не было, а это было как бы здание для инженеров и для конструкторов. Да еще и космоса тоже не было. Это все делалось до войны, надо сказать.

И.С.: Здорово.

В.Г.: Да. До войны, к открытию. Там, кстати говоря, когда мама ушла со всех [работ и стала работать на ВДНХ], там все заработали, все. Мама тоже была [там], корректор она была, они там перед войной были и очень здорово все заработали.

И.С.: А, это именно там?

В.Г.: Полгода была отчаянная работа, днем и ночью, но дикие заработки. Она в качестве корректора работала, она там стала корректором. Потом она стала в «Энциклопедии» работать, а тогда она стала вдруг корректором. Неожиданно, я даже не понимаю, как это произошло, но это случилось. Она никогда этому, наверное, не [обучалась]...

И.С.: Она журналисткой была?

В.Г.: Она — нет, она вообще никем... Сначала она была пианисткой.

И.С.: Она была пианисткой?

В.Г.: Сначала да. Потом она почему-то... Ну, она легкомысленная была женщина. Потом она работала с каким-то химическим производством на немецком авиационном заводе. А тогда были у нас — теперь это просто Москва, а тогда было еще Подмосковье, — на немецком заводе, авиационном заводе на каком-то. Кем, что там она делала, я не знаю. Недалеко как раз от нашего центра, [от Смоленской], где мы жили. Немцы по закону по своему — по Версальскому договору, военное [у себя] не могли строить, и они строили у нас, там, в Москве. Все наши авиазаводы построены немцами, между прочим. И все наши первые разработки консенсусные, тоже и «Мессершмитты» помогали, — ну, сейчас уже все знают об этом, даже пишут. А потом мама каким-то образом [стала корректором] — просто потому, что гимназии они все кончали, одесскую она кончила гимназию, и это значило, что она правильно писала по-русски. Вот и все. Абсолютно! То есть ничего другого, но это была гимназия. Она правильно знала, что такое русский язык, поэтому она стала этим [корректором] и работала там — и никаких никогда [проблем не бывало], она работала до конца своей жизни — и никаких недоразумений. Она работала уже в издательстве Академии наук, где и я сам работал, и там она была в почете как очень опытный человек, который знает лучше, чем кто бы то ни было, как по-русски надо писать. Вот. Это было такое.

А там какое-то было — вот когда вдруг деньги полились — не воровали, вот нет! — в отличие от нынешнего времени: не то что там приписки какие-нибудь — просто были установлены огромные гонорары, зарплаты феноменальные, зарплата у нее была какая-то [неправдоподобная] — по тем временам. Честно все. Ну, потому что это была ударная стройка так называемая. Надо было знать, для кого это строилось — для Сталина, идея от Сталина исходившая — ВДНХ называлась выставка, Выставка достижений народного хозяйства. Ему надо было доказать, и себе самому, эту вещь, что он колхозами не разрушил, не уничтожил все это сельское хозяйство, а наоборот, он его поднял. Для чего эта выставка: это ж для него делалось, не для нас! Но и для тех, кто туда [приходил]: [она должна была показать], что наше сельское хозяйство на высоте, на таком необыкновенном подъеме... Потому что, конечно, он знал, что такое 29-й год — и вот надо было показать, что в 20-е, в этом 29-й году, колхозное движение привело к расцвету нашего сельского хозяйства колхозного. А при чем тут павильон радиоэлектроники — это все будущее, это вообще никакого отношения к советскому строительству не имело. Поэтому он такой красивый — я не знаю, что от него осталось. Ну вот. Да и поскольку это надо было сделать, это шло оттуда (*показывает вверх*), денег там никто не считал и никто их тогда не воровал, просто как бы это нормальная логика: если там ночные работы, если там в совершенно неурочное, то есть, в нерабочее время, они сидели с утра и до ночи, гнали все эти буклеты, ну, все, что надо было делать, буклеты обычно, то надо это оплачивать, чтобы хорошо работали. Как-то Сталин это понимал. И не только Сталин, все они понимали, что это единственный стимул, не борьба за коммунизм, а хорошая зарплата. Зарплата была действительно хорошая, которая и спасла нас, [нашу семью], потому что папина зарплата резко понизилась, он был журналистом и — счастье это или не счастье, но он не был членом партии. То есть, в свое время он был меньшевиком, как от меня это когда-то скрывали, и потом скрывали.

И.С.: И смогли скрыть.

В.Г.: Смогли, да, меньшевиком, да. Поэтому он же в ссылке был, когда был молодым человеком, в Вятке в те годы, то есть в Кирове. Был в ссылке.

И.С.: Ну расскажите, пожалуйста, про это чуть-чуть подробнее, что знаете.

В.Г.: Ну значит...

И.С.: Когда, в каком году он родился?

В.Г.: В 88-м.

И.С.: В 88-м.

В.Г.: Надо посчитать, сколько ему сейчас... двенадцать и тринадцать — значит, 125 лет ему сейчас.

И.С.: Боже мой! 125!

В.Г.: Сейчас вот ему исполнится 125 лет. 22 числа, 22 января. [...] А мне — я родился, когда ему было около сорока лет. Он с детства ушел из дома, из своей семьи...

И.С.: В Одессе.

В.Г.: Из этой семьи, этих самых — фамилия...

И.С.: Федермеер.

Родители и братья отца

В.Г.: Да, отец был Федермеер, знаменитый на всю Одессу зубной врач, с немецким образованием, лечивший бесплатно бедных людей, а богатых за хорошие деньги, имевший дом, имевший охранную грамоту, подписанную Лениным непосредственно. Чтобы его дома не касались, — это бывает. Не то чтобы Ленин сам, но Ленин заготовил такие охранные грамоты, и местные власти, кому они хотели, тому и выдавали. Не то, что Ленин знал, что какому-то там врачу — нет. Но это была охранная грамота именно исходя из его заслуг перед — как бы сказать? — народом. Потому что он был народный врач, хотя с хорошим, по-видимому, образованием. И с чудачествами — это известно.

И.С.: Зубной врач.

В.Г.: Да, конечно! Когда он [говорил:] «открой рот», — [сам в это время] садился за рояль и начинал играть (*смеются*).

И.С.: Все сидели — с открытыми ртами?!

В.Г.: С открытыми! «Только держи рот открытым!» — он на «ты» был со всеми, — и садился за рояль...

И.С.: Ну там же должна пломба высохнуть, действительно держать рот открытым надо!

В.Г.: Нет, он с того начинал, что это говорил! А потом подошел и — раз! выдирает зубы таким образом, в самый неподходящий момент, когда никто не думал, что это может быть!

И.С.: Вскочив от рояля?

В.Г.: Да! Ррраз — просто так чуть-чуть вставал. Он вообще — нет, у него идея была заговаривать... тогда же не было никаких особенных болеутоляющих. Заговаривать людей идея была. Совершенно еврейская такая мудрость.

И были, значит, [у него дети]: папа, старший брат, который, как ни странно, уцелел в Румынии — совершенно загадочная вещь! Другой брат, который был директором пожарной команды под Москвой, мы туда ездили, я помню. На меня это произвело [огромное впечатление]— я был мальчиком....

И.С.: Расскажите, пожалуйста, про пожарную команду!

В.Г.: Я только помню, какое впечатление: каланча! И он — директор! И он нас принимает! Всех своих вывел, они вышли... Пожарные, настоящие пожарные! в каком-то подмосковном городе, не помню в каком, в таком хорошем городе. Но не Москва. Они все были в форме, они все...

И.С.: В касках?

В.Г.: Они все были так красиво одеты, он всех их выводил, потому что знакомые не часто бывали там вообще. И эта пожарная команда произвела на меня впечатление такой элиты человечества... Потом он как-то сгинул совершенно...

И.С.: Это второй брат, это второй дядя?

В.Г.: Это даже третий, младший брат отца. Старший исчез, уехал в Румынию — и спасся там! Если бы

он остался... Он там был бизнесменом каким-то... Если бы он остался в Одессе, он был бы уничтожен. А там наоборот... И потом его дочь, моя двоюродная сестра, лет 20 назад меня нашла и приехала ко мне.

И.С.: Она в Румынии живет?

В.Г.: Она по-прежнему живет в Румынии, говорит по-русски совершенно свободно. Только такая полноватая, уже немолодая, но, по-видимому, была довольно хороша собой в молодые годы. Но как-то у нас контакта особенного не возникло.

А отец просто ушел из семьи, ушел, примкнул к каким-то меньшевистским [группам], был тут же пойман, но тогда были времена не [такие страшные]: его просто выслали — и все.

И.С.: В Вятку.

В.Г.: Да. Он поучился что-то и не доучился. Он учился в каком-то, я помню, институте, но его оттуда... И там тоже все было как-то очень... такая живая жизнь — эти губернские города, они были не то что сейчас, они не умирали, они, наоборот, поднимались. Губернская Россия... [...] Потом он опять вернулся в Одессу, и тут они повстречались опять, но в дом не заходили. А дом был богатый...

И.С.: Это с кем повстречались?

В.Г.: С моей мамой. Она была его на 10 лет моложе. А она училась в Консерватории, она же еще помимо всего прочего, пианистка. Вместе там была, вместе со своей подружкой, которая стала педагогом, уже много лет спустя, приехала к нам, и встречалась с мамой... Да, и потом мама хотела, чтобы еще я учился музыке: наняли мне какого-то педагога, но мне не понравилось, как он меня [муштровал]... Так что я музыкантом не стал — два занятия было, и все кончилось.

Так вот, папа ушел [от своих родителей] — и все, больше семьи [не было]. А дальше было — я рассказывал про этот классический приезд в 35-м году деда с бабкой, первый и последний, когда я их один раз видел в своей жизни.

И.С.: Расскажите, пожалуйста. В 35-м году в Москву?

В.Г.: В 35-м году в Москву, да. Приехал дед... у меня даже есть фотография где-то, то есть, была во всяком случае. Они очень добропорядочные такие два старых человека, моего возраста.

И.С.: Вашего нынешнего?

В.Г.: Да, нынешнего, да. И, значит, приехали к нам, вошли в нашу коммунальную квартиру — я это очень хорошо помню: выражение их глаз, совершенно ошалевшее, и мысль, которую я теперь знаю, потом вернее узнал, поскольку потом это рассказывали... Мысль была такая — там было две комнаты и даже третья, где тетка жила, но все-таки там еще 20 человек [чужих] было, и вот этот длинный коридор...

” "И это — ради этого делали эту революцию?! ради этого столько положили людей? Ради этого вы разрушили Россию?!" — вот что читалось на его изумленном лице!

И.С.: А он продолжал в 35-м году жить в Одессе в своем доме?

В.Г.: Да! Дом был — дом не тронули. Там охранная грамота, подписанная рукой Ленина! Охранная грамота!

И.С.: Ах, так он продолжал жить в своем доме! А насколько большой дом был?

В.Г.: Большой, по-видимому. Сейчас его нет. Я там его искал, когда был — нет, он исчез — во время как раз... Досадно, это был единственный дом, который исчез. Это был его собственный дом — дом Федермеера, вот и все. Значит, «И это...» И он мне сунул — я помню, что плитку шоколада,

я никогда не... [это был] первый раз, когда я увидел эту плитку шоколада, и серебряную фольгу, которую я собирал потом...

И.С.: А не было фольги? На московском шоколаде не было фольги?

В.Г.: Не было шоколада!

И.С.: А, не было шоколада?

В.Г.: У меня не было шоколада.

И.С.: Как, в 35-м году не было шоколада?

В.Г.: У меня не было! Не было денег на шоколад.

И.С.: Не было денег на шоколад? А как же ВДНХ?

В.Г.: Это 40-й год.

И.С.: А, это 40-й год!

В.Г.: 40-й.

И.С.: А, и тогда появился шоколад!

В.Г.: Ну да, но это была первая плитка, которую я увидел. Он мне ее дал, он очень поражен был моей реакцией. Ну, вот, они смотрели, потом меня попросили выйти, начался там крик! Мужской; женщины молчали.

И.С.: А, мужчины кричали, а женщины молчали!

В.Г.: Кричали! И они ушли, так примирения и не произошло. Больше они никогда не встречались, никаких писем не было.

И.С.: И не встречались, и не переписывались?

В.Г.: Не переписывались. Никогда. И потом я узнал, что они зверски были замучены, сразу, в первые дни.

И.С.: Оккупации румынской...

В.Г.: Потому что он... Как это ни удивительно, у него был диплом немецкого университета, берлинского — не какого-нибудь! Диплом. Там же врачебные были отделения [в университетах] у них, в Германии, в те годы. Он висел даже [на стене, тоже] как охранная грамота. Когда немцы приходили, в первое время это иногда спасало людей. Но ненадолго.

И.С.: У них закон был, да?

В.Г.: Да. Это...

И.С.: Что евреи — выпускники немецких университетов...

В.Г.: ...не подчиняются этому закону, вот этому решению — «окончательному решению» [еврейского вопроса].

И.С.: Но в Одессу пришли румыны.



Ефим Зозуля

В.Г.: Во-первых, пришли румыны, две недели им дано было на разграбление. Потом дом, конечно, был богатый, и черт его знает, что там было — я не знаю и боюсь даже узнать. А может быть напрасно — надо узнавать. Наверное, там же есть старожилы — то есть, люди, которые этим занимаются — он же был, повторяю, почетным гражданином, почетным человеком городским. [...]

И.С.: Так, а фамилия откуда?

В.Г.: Федермеер?

И.С.: Нет, [Гаевский].

В.Г.: Папа взял.

И.С.: А, то есть, взял он...

В.Г.: Но тогда еврейских фамилий вообще не стеснялись, наоборот, они давали открытый [ход]. Он не хотел с родителями со своими иметь ничего [общего]!

И.С.: А история с псевдонимом неизвестна, не помните ее? Почему Гаевский?

В.Г.: Гаевский — это Гай, нет, это польская, вообще говоря, фамилия, здесь что-то мне объясняли, я забыл. Тоже чья-то там. Но он начинал [со ссылки], после этого вернулся, слава Богу, не был членом партии, поэтому не был и репрессирован.

Легенда о появлении родителей в Москве

[...] Дальше еще есть такая легенда в нашей семье, правда, как говорят, она абсолютно неправдоподобная, апокриф такой, но мне хочется, ввиду того, что это такой приятный апокриф... Дело в том, что они все, в то время, как началась Гражданская война, и вся это компания — а они были очень дружны между собой...

И.С.: А они были в Киеве тогда?

В.Г.: Они были в Киеве, да.

И.С.: А как они [там оказались]?

В.Г.: Ну, как-то... Потому что Одесса тоже подчинялась черт его знает кому, и бандам... и оттуда они решили в Киев — почему-то Киев, — и оказались все в Киеве.

И.С.: А, то есть, они оказались в Киеве уже во время Гражданской войны?

В.Г.: Ну да-да-да, или там спасаясь от бандитов...

И.С.: А все — кто: папа, мама ...

В.Г.: Нет, вот вся эта компания: вот Кольцов, который был как бы заводила и главный вождь, вот эта тетя Сима с еще не родившейся дочкой Нинкой...

И.С.: Тетя Сима — это мама Нины?

В.Г.: Это сестра... Да, мама Нины.

И.С.: Сестра папы, мама Нины.

В.Г.: Да, это сестра моего отца. Вообще все эти люди, которые ушли из семьи — из богатых своих семей. А дед и бабка остались, так же, как и мамыны. А у мамы, — да, действительно, выяснилось недавно, потому что я же совершенно вообще ничего не знал, мама никогда ничего не рассказывала, — что бабка моя по маминой линии — итальянка! Я рассказывал тебе?

И.С.: Да-да-да.

В.Г.: В общем, какая-никакая четверть крови у меня — итальянская кровь! Она певица была, он работала...

И.С.: В Одесском оперном театре...

В.Г.: В качестве, может быть, [хоровой артистки]...

И.С.: В хоре, не солистка?

В.Г.: Не знаю. Никто не знает.

И.С.: А фамилия известна?

В.Г.: Нет. Вот нет, не знаю. Все это пропало. Мне никогда ничего не говорилось — они [родители] тоже не любили вспоминать свою молодость — своих родителей, [как и я]. Вот чувство, конечно, вины, у всех: как у меня по отношению к ним, так и у них по отношению к своим. Но я хоть [со своими родителями всегда] жил...

И.С.: Значит, это мамыны. А Федермеер — это папин отец.

В.Г.: Папин, а мама — Померанц.

И.С.: Померанц. А итальянская бабка — чья? Мамина бабка или мамина мама?

В.Г.: Мамина.

И.С.: Мамина мама.

В.Г.: Моя бабка.

И.С.: То есть мама — наполовину итальянка.

В.Г.: [Итальянка — моя бабка], которую я вообще никогда не видел, никогда не слышал, дома об этом никогда не говорилось. Кстати, разговоры были только на русском языке, дома не говорили на еврейском и, по-моему, плохо его знали. Это странно сказать, но я никогда не слышал еврейской речи. Абсолютно никогда. Поэтому я и не знаю идиша. Они говорили на чистом русском языке, на чистом русском, как все, кончившие одесскую гимназию — а это много чего стоит!

Да, так они оказались в Киеве...

И.С.: В Киеве!

В.Г.: Потом, когда пришли сюда, в Киев... Ну, это булгаковская история, когда пришли туда эти самые, резать всех евреев...

И.С.: Петлюра?

В.Г.: Петлюра, да, и вот Кольцов сказал, что едем обратно в Одессу, потому что страшно; раздобыли вагон, который они запломбировали, и вагон поехал...

И.С.: Подождите, эта история требует уточнения. Значит, они отправились назад в Одессу, да?

В.Г.: Они отправились назад в Одессу.

И.С.: Они раздобыли вагон... Сколько их было человек там?

В.Г.: Ну, их было... довольно много, человек 15.

И.С.: Человек 15 журналистов, да?

В.Г.: Нет, пока еще они были никто.

И.С.: И Кольцов еще тоже не был журналистом? Просто компания друзей?

В.Г.: Пока еще просто компания молодых людей, молодых авантюристов...

И.С.: Хорошо, но папе уже было 30 лет в тот момент!

В.Г.: Да! Но что-то он там делал, я забыл, он никогда не говорил, что они делали...

И.С.: А Кольцову еще больше?

В.Г.: Кольцов — нет, это все однолетки.

И.С.: И вот они раздобыли вагон...

В.Г.: Ну, Кольцов был очень человек авантюрный. И он раздобыл вагон.

И.С.: Раздобыли вагон — и велели себя запломбировать?

В.Г.: Да, чтобы никто туда не вошел, и чтоб — хотели с комфортом вернуться в свою Одессу, потому что в этот момент было как-то... не то там белые...

И.С.: Там Деникин был.

В.Г.: Там уже тогда были белые, и это было совершенно безопасно. Вот — между 17-м и 18-м годом.

И.С.: А, тогда еще, конечно, там никакого Деникина не было. Между 17-м и 18-м... Нет, это можно посмотреть*.

* В 1918 году с января по март в Одессе была советская власть, далее — гетман Скоропадский и австро-венгерские войска, далее белые и интервенты.

В.Г.: Они хотели вернуться к себе домой.

И.С.: Это в тот год, когда Петлюра...

В.Г.: Петлюра когда вошел...

И.С.: Наверное, перед тем, как он вошел? Иначе они не успели бы ничего.

В.Г.: Они решили и поехали в Одессу. Потом, когда вдруг отъехали и начали смотреть...

И.С.: А долго они ехали?

В.Г.: Ну, сколько до Одессы надо ехать, — несколько часов. А потом видят — непохоже на Одессу...

И.С.: Нет, ну не часов же! Они, наверное, все-таки ехали несколько дней!

В.Г.: Непохоже на Одессу! Посмотрели... — Нет, довольно быстро! — посмотрели — но что-то не похоже на украинский ландшафт, что-то не похоже на одесский вокзал... в общем, оказались в Москве.

И.С.: То есть их, этот вагон, не туда прицепили и привезли в Москву!

В.Г.: Такая есть апокрифическая легенда, которая иногда возникала в нашей семье: что так они все попали в Москву. Но не растерялись и быстро нашли своих друзей, потому что Москва была полна одесситов, они тоже были важными людьми.

И.С.: Вместе с Кольцовым?

В.Г.: Да.

И.С.: Так ведь это же можно узнать, наверное: Кольцов человек известный!

В.Г.: Никого не осталось — никого! Все были перебиты — никого не осталось. И потом, это нельзя об этом говорить — получается, что героический Кольцов, первый журналист... Он был действительно первый журналист в стране, считался первым. Писал такие замечательные фельетоны, совершенно, под названием «Скорей, скорей в тюрьму!» «Товарищ начальник Бутырской тюрьмы! Когда к вам человек с этой газетой придет, немедленно его принимайте и запирайте...» Значит, там двойное обращение — сначала к герою фельетона: «Возьми этот самый фельетон и езжай сразу немедленно в Бутырку». И обращение к директору Бутырки...

И.С.: Это...

В.Г.: Кольцов, подписано...

И.С.: Это по какому поводу?

В.Г.: Воровства.

И.С.: А, воровство!

В.Г.: «Немедленно принять его и туда...» Да, он писал такие фельетоны. И очень почитал его Сталин, хохотал. Он был веселый человек. А Хемингуэй сказал, что это самый умный человек, которого он встречал в своей жизни, Карков его псевдоним, там даже есть фотография, когда они с Хемингуэем.

И.С.: Так они приехали... ехали в Одессу в plombированном вагоне, а приехали в Москву!

В.Г.: В Москву. Но не растерялись совершенно! Москва тоже была частью Одессы, в это время, вот в чем дело, то есть, они попали в свое место, только...

И.С.: А в Москве были красные, как известно. А они ехали к белым, а попали к красным...

Н.С. Аллилуева

В.Г.: Но попали тоже в Одессу, потому что такое Одесса: здесь уже была масса одесситов, практически вся одесская литературная [толпа] была уже здесь! 18-й год примерно. И все быстро как-то пристроились. Папа попал в «Комсомольскую правду» журналистом. Это его рассказ, это он мне рассказывал. Он не очень любил все это вспоминать, но рассказал то, что меня поразило: он работал вместе с Аллилуевой. Женой Сталина. И пришла она как-то в редакцию в слезах, и он спросил...

И.С.: Но он не знал еще, что это жена Сталина?

В.Г.: Все знали!

И.С.: А, знали, да?

В.Г.: Ну конечно!

И.С.: А, все знали!

В.Г.: Ну да! В начале так, без всякой охраны вообще.

И.С.: Как, а я думала, что они [только потом узнали, кто она].

В.Г.: Это еще начало самое 20-х годов.

И.С.: А, то есть в то время еще...

В.Г.: Нет, совершенно... Его там сопровождали — ее нет, приезжала она туда на трамвае, приезжала совершенно спокойно. Может быть... А впрочем, не знаю...

И.С.: А когда они поженились-то? Это надо посмотреть.

В.Г.: Это когда приехали, в 18 году. А это начало, начало 20-х годов...

И.С.: Нет, нет. Я имею в виду Сталина! То есть, она была уже женой Сталина?



Александр Осмеркин

В.Г.: Да, конечно! «Отчего вы в слезах?» [спрашивает ее мой папа]. — И она говорит, что «Понимаете, я не могу этого наблюдать, я не могу этого...» — вообще-то она закрытый была человек, и он не понял, говорит: «Что такое?» — «Знаете, как он будит Васю? Сына, когда он не встает... как Иосиф будит сына? Выстрелом из револьвера! Подходит и над его головой...» А он, говорит, очень с трудом вставал. И он его будил выстрелом из револьвера. Поэтому он стал сумасшедшим, психом, этот Вася. Вот. И он потом пьяницей стал страшным и умер пьяницей в тюрьме. Кстати, уже году в 72-м. [...]

И.С.: Ну так, а что было дальше с Надеждой, с Надеждой что было дальше в редакции, что она делала дальше?

В.Г.: Нет, я не знаю, как только, наверное, узнали, что она что-то говорит, ее убрали, она уже там долго не стала работать. Нет, конечно... тут же, конечно, стукнули, что она там плачет и рассказывает.

И.С.: Так, то есть, папа знал, кто говорил!

В.Г.: Конечно! Все знали.

И.С.: А, все знали...

В.Г.: То есть, почему их не забрали?! Ну тогда еще, в 20-е, не до этого было, была борьба между собой. Было до всего, но не до этого.

Потом началось папино нисхождение по службе.

Вечеринки в родительском доме

До 35-м года в доме было процветание какое-то. Потому что я помню, что две зимы подряд, два, 34-й и 35-й, Новый год у нас встречал Еврейский театр, Михоэлс, Зускин. Меня будили, и он на коленях [меня держал] и пел песенку. Это я помню. Почему-то была большая дружба совершенно. А потом все это исчезло: денег не было никаких, очень бедность началась большая.

И.С.: А тогда были пирушки.

В.Г.: А тогда были какие-то пиры по-видимому, и потом были танцульки. С этим... У меня есть замечательная фотография... этот художник... Один из самых лучших наших художников...

И.С.: Фальк?

В.Г.: Нет! Фальк не ходил никогда [на наши пирушки], Фальк с дядькой дружил. Не Фальк, а Осмеркин!

И.С.: Осмеркин!

В.Г.: Она танцует с ним...

И.С.: Мама?

В.Г.: Да, он за ней приударял, по-видимому. Осмеркин был большой мужчина, но... очень элегантен. И преданный своими учениками. Есть даже рассказ, страшный рассказ, как на него — он был такой педагог прирожденный, вот в этом ВХУТЕМАСе, или там где-то. И как на него студенты что-то там написали — ну, когда надо было... и он ушел [из этого места]...

И.С.: В каком году?

В.Г.: Ну, уже 49-й год... В этом страшном году. Как он изображен там... потому что он стал похож на короля Лира, абсолютно. На короля Лира, которого изгоняют из своего [дома]. Один из основателей этого всего ВХУТЕМАСа. И он там с развевающимися [волосами], бросал проклятия... Есть такой рассказ вот, и даже где-то зарисовка. Вот. А [перед войной] — это было веселое время ...

И.С.: Это чей рассказ?

В.Г.: Есть такая книга, которая называется «Осмеркин», кто-то из наших и его друзей... [Но у меня] ничего в памяти от них не осталось. И только был шум, крик и все, и только время от времени в дверь стучали, и записочка там вот от соседа — у нас же много соседей было, — школьный преподаватель, совершеннейший...

И.С.: Это мы снова переходим к празднованию Нового года?

В.Г.: Нет, нет, это когда гостей принимали...

И.С.: Нет? А о чем речь? Сейчас о чем?

В.Г.: Когда вообще были пирушки...

И.С.: А, когда пирушки были!

В.Г.: «Просят не шуметь» — вот такая записка.

И.С.: А, под дверь?

В.Г.: Под дверь. «Просят не шуметь».

И.С.: Соседи по коммуналке.

В.Г.: Да. [...] Конечно, они оба... то есть, не жалели денег, папа их зарабатывал, а мама их тратила. Только как-то почему-то у нас всегда жили, бесконечно жили — сестра жила, брат был...

И.С.: Чей, чей?

В.Г.: Мамин, мамин. Все у нас как-то... И приезжали, и жили годами, и там даже становились... находили нас...

И.С.: В Денежном переулке.

В.Г.: Да-да, все там же. И Глазовский, на углу Денежного и Глазовского. И когда у папы что-то такое началось, — когда начались посадки, прежде всего, но нас, слава Богу, это не коснулось, а коснулись материальные проблемы. Я помню совершеннейшую [бедность], уж какие там пирушки! Все сразу же отвернулись. Ну и как-то перестали [у нас бывать]. И потом было короткое время материального [благополучия]. Но во время войны тут же все погибло, потому что очень ненадолго мы были в Набережных Челнах, и все, что у мамы было — я помню, все отрезы, вот это все — ее часы, все уходило на рынок.

И.С.: Все обменяли на продукты во время эвакуации. А эвакуация была сначала в Сызрань, потом в Набережные Челны.

В.Г.: Сначала во Владимир.

И.С.: А, сначала Владимир был еще?

В.Г.: Да, да. Это другая сестра мамина, была тоже вместе с моей двоюродной сестрой.

И.С.: А как вы ехали в эвакуацию, конкретно вы что-нибудь помните? Как в эвакуацию ехали?

В.Г.: Очень хорошо!

И.С.: Подробности какие-то...

В.Г.: Нет, ну это было Министерство легкой промышленности...

И.С.: То есть, от работы всех собирали...

В.Г.: Во главе которого была Жемчужина, жена Молотова, это особая была... Моя тетка там работала юристом.

И.С.: Это которая тетка?

В.Г.: Это другая тетя, младшая сестра, то есть, средняя, средняя сестра.

И.С.: Чья? Мамина?

В.Г.: Мамина.

И.С.: Которая с вами жила, или другая?

В.Г.: Нет. Вернее, когда ее Наташка, ее дочь, выгнала, тогда [тоже] жила. [...] Наташка тогда уже была совершенно злобная баба... Это подружка моего детства. Мы с ней росли, абсолютно вместе — [она была] как родная сестра, а не двоюродная. Ее-то отец и купил дачу [в Валентиновке], которая предназначалась нам. Мы эту дачу [у них же и] снимали, эту нашу как бы дачу, которая могла быть моей, мамы моей, но мы снимали ее у моего дядьки, мужа ее сестры. Снимали, без денег не пускал нас. Такой аграрий он был, профессор: профессор Батурицкий. Тогда это значимо было, он всегда, когда уезжал в город, голосовал на дороге и говорил: «Я профессор». И его подвозили. Тогда профессоров было мало.

И.С.: Так, а у него на лбу было написано, что он профессор? Это было видно?

В.Г.: Да!

И.С.: Видно?

В.Г.: Он так говорил, что это было понятно, следовало, что это без дураков! Профессор Батурицкий. Никто не проверял: «Садитесь, садитесь, пожалуйста!»

И.С.: То есть, он останавливал машину и говорил, что он профессор Батурицкий?

В.Г.: Он говорил: «Здравствуйте, я профессор Батурицкий, прошу меня в Москву». Все, пожалуйста!

И.С.: Как, останавливая машину, он говорил: «Я профессор Батурицкий?»

В.Г.: Профессор Батурицкий, да.

И.С.: А так было принято?

В.Г.: Их тогда было немного...

И.С.: Это когда — перед войной? Когда? Я путаюсь...

В.Г.: Перед войной, во время войны не ездили особенно. Перед войной было такое, он все время менял жен, каждые два года приезжал с новой молодой женой. А потом последняя, Анна Ивановна, очень дружившая с моей мамой, бывшая его страшно, потому что он впал уже в абсолютное [детство], а он плакал, рассказывал, как она его била. А она говорила: «Да что вы, я его не бью, просто я не могу, это невозможно!» Мы как-то все в идиотском были положении.

Судьба школьного друга

А Анны Ивановны дочка Марина, моя, значит, кузина. Я уже тебе рассказывал эту историю, моего товарища врача, детского психиатра. Я, по-моему, рассказывал эту историю, да? Такой был у меня одноклассник, Боря Лебедев. Главный детский психоневролог России, очень важный человек. А мы с ним поддерживали дружеские отношения, играли в шахматы. Единственная просьба, никогда не то, что ничего не просить, а вообще не говорить о болезнях. Никогда! Он всегда предупреждал. Тем более, что он такой — благороднейший человек, он был знаменит своим бескорытием. Знаменит совершенно.

Приезжали к нему со всей страны. Сам он был на двух протезах, потому что он во время войны как санитар работал, в лазаретах, и один раз не заметил, что поезд на него наехал. Ужасно. Это его и сгубило, потому что он все время был на таблетках, которые он принимал так, с утра, это я видел: раз — вот все, весь дневной запас сразу. Когда он кончил институт с золотой медалью, его послали на стажировку — да, но это было в Англию, и это, наверное, был первый случай. Он приехал оттуда с дикой ненавистью к советской медицине. «Я тоже ее знаю, но ты понимаешь — как мы лечим! Это ж нельзя!» Тем более, что потом он продолжал читать английские медицинские журналы...

И.С.: Это какой год — вот это все?

В.Г.: Это когда я кончил институт, пятьдесят второй....

И.С.: А он был послан...

В.Г.: Пятьдесят третий, пятьдесят четвертый...

И.С.: То есть, еще до XX съезда?

В.Г.: Да. Ну, в это время, когда началось... после смерти Сталина, конечно.

И.С.: После 53-го или после 56-го?

В.Г.: Ну, конечно... Около 56-го... вот, полгода там провел, совершенно ошалевший от контраста, и потом ...

И за всю жизнь только лишь два раза я его просил, чтобы он действительно приехал ко мне кого-то посмотреть, попросил два раза. Он сам на машине ездил, водил, несмотря на свои [протезы]. [...]

И второй из этих двух раз — это когда Марина, дочка вот этого профессора Батурина и Анны Ивановны, сводная сестра моей Наташки, (потому что Наташка от его первой жены, маминой сестры), а это когда он ушел, бросил их, и потом женился на одной, на второй, а потом на Анне Ивановне, последней уже, и там возникла Марина. Это абсолютная красавица, совершеннейшая, и умница. И пресс-секретарь, секретарь председателя нашего олимпийского комитета, Смирнова. И, по-видимому главный там человек, потому что он дурень такой, абсолютно темный человек, а она переводчица постоянная. [...]

А тогда она родила свою дочку — и медленное развитие. Я говорю: «Боря, поехали — вот такое случилось». «Ну ладно, поедem, поедem...» Приехали. И как увидел он Марину, ты знаешь, я первый раз увидел, чтобы — как называется? — клятва...

И.С.: Гиппократ?

В.Г.: ...так нарушалась. Он начал ей говорить, что здесь необходимо постоянное наблюдение врача, не меньше, чем раз в неделю! «Я — это тот врач, я буду сам приезжать», — начал дурака валять совершенно! (*Смеется*) То есть нарушил все — первый раз я такое видел. Она была хороша! Абсолютно! Он только сказал: Марина, это вообще [не страшно], но я должен все-таки это наблюдать в процессе. То есть он не брал ни денег, ничего, но он приезжал раз в неделю! И там никакого романа, естественно, не было — он был старый больной человек! — но он хотел ее видеть. И для этого врал, буквально как юноша. Потому что он должен был постоянно [ее видеть]! Какое-то время он с трудом... для него это нагрузка совершеннейшая! Я же видел его, когда он кончает это свое дежурство на работе, чтобы вообще забыть про медицину, забыть про детей! А [дочка Марины] — нет, она была совершенно безобидная девочка, но молчаливая, говорить никак не умела, что страшно пугает всех родителей, по-видимому. Просто ни одного слова, просто молчит. Но это не аутизм, ничего... Он сразу поставил диагноз, мгновенно, но все-таки решил немножечко подыспользовать свои возможности. И потом она уехала, исчезла, и это тоже был некоторый удар, потому что он привык! Он стал своим человеком в семье, такой личный врач, и, по-моему, девочка к нему привыкла! Ну, его тоже давно уже в живых нет... И я пришел на эти [его] похороны, и я потом говорил речь...

Бог ты мой, я помню, как он жил! Совершенно недалеко — если пойти по Денежному переулку туда, до Кропоткинской, туда, подальше, мимо нашего дома, туда, по правой, не доходя, это был предпоследний

дом. По-моему, это был дом, который сейчас снесли, там был подвал, в котором они жили, большая семья, в подвале.

И.С.: В подвале?

В.Г.: *(Кивает)*

И.С.: Вот этот... он был главный психоневролог?

В.Г.: Нет, это когда в школе учились!

И.С.: А, когда в школе!

В.Г.: Потом-то он жил на академической квартире, недалеко от его института...

И.С.: А, понятно! Вы говорите, в какое время, потому что...

В.Г.: Нет, во время войны, когда он еще вообще... Он жил в подвале, совершенно жутком подвале, в жуткой нищете.

И.С.: А расскажите, какой подвал был!

В.Г.: А это нет, я [там не был]. Я только с улицы мог покричать ему: «Боря, выходи!» А туда он никого не пускал... У него была очень семья... Причем когда я попал на эти самые поминки — вся эта его родня, все смотрели на меня... Я там один еврейский персонаж был. Хотя, вроде, если он врач, то они могли сообразить, что это его среда... А там еще был мой товарищ, Гарик Мерзун, тоже мой одноклассник, мы с ним давно не встречались, наш первый ученик. Он тоже пришел, и мы вдвоем там сидели — два, совершенно как чужие... Они нас приняли, очень любезно, тем более, что с его дочерью у нас были очень хорошие отношения. Дочка-то была сама [нашего круга]. А это такая совершенно [другая среда], все эти семьи очень бедные, очень темные и очень, по-видимому, настроенные недоброжелательно к инородцам. И я помню, как я там чувствовал себя... Ну, я все там, что надо было, сказал, тогда я как-то умел говорить без запинок. А потом жалко просто было — это действительно очень близкий человек, очень!

И.С.: А про школу расскажите!

В.Г.: Нас еще объединяло то, что мы страстно [любили футбол]. Такого болельщика «Спартака», [как Боря], я вообще никогда не видел. Что с ним творилось на стадионе, как он кричал!

И.С.: Вы ходили на стадион с ним?

В.Г.: Конечно, ходили!

И.С.: В какое время?



Михаил Кольцов

В.Г.: Ну, это 40-е — 50-е годы. Вот это время. И даже в 60-е, когда он был взрослым, когда у него была машина, когда он был профессором, — настоящим он был профессором, не липовым, как я, настоящим профессором! Потом в этом Доме ученых, он там очень почитался. Был чрезвычайно способный, очень благообразный, у него очень благородный [облик], почему в Англии его очень [приняли], абсолютно английское лицо, совершенно благородное, ему можно было в английских фильмах сниматься. Чистое, абсолютно чистое. Таких чистых русских лиц я вообще уже давно нигде не видел, все совсем другие. Вот что-то сохранилось там. И это да, и это ему давало то, чего лишено его поколение...

Учеба в гимназии, проявление математических способностей

А в школе — лучше не вспоминать. Я тоже иногда вспоминаю, как я хулиганил...

И.С.: Расскажите, это же замечательно!

В.Г.: Нет, не могу, это позор, это позор!

И.С.: Ну, расскажите!

В.Г.: Это позор, это постыдная вещь...

И.С.: Ну все же в школе дурят, ну что вы! Нет, ну расскажите, что были за педагоги, что были за ребята.


В.Г.: Ну, что, у нас была не школа, у нас была бывшая Медведковская гимназия, она так называется, так вот сейчас там написано, это тоже сейчас гимназия. И там преподавали, главным образом, тоже выпускники этой гимназии. То есть, оттуда! Лучшие самые предметы: по литературе, по географии ...

И.С.: То есть, преемственность была.

В.Г.: Еще какая! Приняв, примирившись — так сказать, «мы против властей не бунтуем»! Но по манерам, по манере речи... Литераторша — которая меня, кстати, не любила очень за что-то — спасалась тем, что у нее был [способ], как выходить из положения. У нее был любимый поэт — это был Маяковский, только ранний, который в программу не входил. То есть, не «Ленин», не «Хорошо», а «Облако в штанах» и все такое... И она читала наизусть. Она из тех, из Политехнического, из поклонниц Маяковского. Она знала все замечательно, вообще все. Меня она любила — а меня тогда выгоняли из школы (там начался период моих изгнаний), за единицу — меня очень не любила физичка, а я не очень любил физику, полный болван был, была у меня полная единица в четверти!

И.С.: А вас выгоняли и из школы?

В.Г.: Да, и за меня вступалась математичка, за то, что у меня были [способности], я показывал какие-то действительно чудеса. Меня ж даже приезжала комиссия наблюдать. Они это видели, и она, и он — педагог другой.

 У нас было четыре ряда по два человека, и всем давали разные варианты задачек, и я решал все варианты, и все это видели, и им даже это нравилось, поскольку я успевал за это время. И я имел за это два завтрака — от класса получал два завтрака!

Учитель все это видел, но не прерывал, а с интересом следил. Потом приехала какая-то комиссия, три человека из РОНО, вызвали к доске — действительно пришли меня проверять, показывали какие-то уравнения уже не уровня школы, и я мгновенно их решал. Класс тоже очень болел за меня. Они ко мне относились с некоторой гордостью.

И.С.: Именно с математикой? А куда это потом все делось?

В.Г.: Нет, во-первых, потом мне объяснил какой-то академик, что это вообще вовсе не талант, это способности, а талант — это если бы вы придумали, а не решили, какое-то уравнение, либо придумали какую-то задачу. А решить... А я знал, как: у меня была система, очень простая. Метод работы как у кибернетической машины какой-то, у меня было несколько способов, я знал сразу, что все задачи сводятся к каким-то определенным типам решения, и я мог сразу понять, какое тут решение. Это я сам находил, нигде этого не читал. Я знал, что эта задача очень быстро решается, вот так-то и так-то. То есть, наоборот, не эмпирически — я знал примерно, сам придумывал: сам примерно знал, что существуют методы какие-то. У меня аналитический ум был какой-то, и я был премирован на олимпиаде — на одной, на районной, и, хотя потом провалился на городской, но эта первая премия давала мне даже право поступать в МГУ без экзаменов — на математику...

И.С.: То есть победа на олимпиаде давала право...

В.Г.: А по литературе я писал дикие... почему она мне и разорвала... Я писал на диком языке эти сочинения, дикие совершенно! Просто я тогда не владел русским языком! То есть я грамотно писал, но совершенно жуткие [тексты]...

И.С.: А как же все это изменилось?

В.Г.: Не знаю, когда это.

И.С.: Жуткие сочинения писал?

В.Г.: Жуткие! Совершенно жуткие. У меня был другой дар, который тоже потом исчез абсолютно... (то есть, наоборот, тут-то появился — способность к писанию), а исчезло то, чем я прямо славился, и о чем меня просили: я мог бесконечно говорить, отвечать о том, о чем ничего не знал. Меня вызывали, и я мог спокойно говорить сорок пять минут и надо сказать, по делу: никакого вздора. Потом я потерял этот дар: у меня при публичных выступлениях появляется какая-то патология, я начинаю нервничать, забываю слова. А тогда этого не было.

А педагоги были замечательные.



Закон был такой, особенно на географии: просить разрешения, чтобы тебя не спрашивали, надо было заранее, до появления учителя в классе.

И нас всегда полкласса выстраивалось... Он говорил: «Да, да, да», — записал, значит, можно было сидеть спокойно. А те, кто не попросил...

И.С.: То есть, так можно было отпроситься?

В.Г.: Отпроситься, да, я забыл, как это слово называется, техническое словцо. И была математичка, так что я думал, я вообще-то готовился на математическое, и потом когда я много лет спустя математичку встретил, в доме отдыха, она так горевала — что ж вы так бросили это дело, вы такой способный... Действительно, какие-то способности были, но не большие такие, хотя яркие, потому что действительно приезжали смотреть. Это как цирковой [фокус]... Памяти никакой, но речь шла не о памяти, а просто о систематизации какой-то мгновенной.

И.С.: А как возникло...

В.Г.: При этом я помню, что у меня, когда я видел задачу, что-то здесь загоралось, что-то загоралось сразу (*показывает на грудь*).

И.С.: Здесь? А как возникло театроведение? Вы закончили школу с желанием заниматься математикой.

Выбор профессии, поступление в ГИТИС

В.Г.: Я пошел на первую встречу, на «открытые двери» в МГУ, на физмат. Первая встреча с нами, с будущими студентами — и увидел себя в недалеком будущем. А меня туда привела другая абитуриентка: там была Женя, которая из другой школы тоже туда шла. Мне она безумно нравилась, больше, чем кто бы то ни было. И я думал, что вот я попаду туда, и мы как-то с ней... То есть, мы чуть-чуть были знакомы, но не более того. И шел я, собственно [из-за Жени], но увидел этих бородатых студентов. А я уже был театралом таким, заядлым. А они совершенно какие-то — с фанатичными глазами. Неужели это я сам стану таким? А потом я узнал судьбу Жени — и это была бы и моя судьба. Она попала в школьные учительницы и, по-видимому, там и кончила свою жизнь. И это — не «Сельская учительница» Веры Петровны Марецкой, любимый мой фильм тогда.

И я сказал: «Нет, только не сюда!» А куда — не знаю, только не сюда. Тут дремучие люди какие-то, лишенные юмора...

И.С.: Математики — дремучие люди, лишенные юмора?

В.Г.: Это не физики! Это не физики! Физики — это физики, это совершенно другое. А это математики. Ну, это Перельман, поглощенный своими задачами. То есть, поглощенные — они только говорили

о формулах, ничего живого в них не было. Это не физики, физики совершенно другие люди. А мой одноклассник Никита Санников, с которым я дружил все эти последние годы, сказал (поскольку я тогда был вообще-то гуляка — это сейчас я боюсь время терять, а тогда я был гуляка): «Проводи меня, я поступаю в ГИТИС». Я говорю: «А что такое ГИТИС?» — «А это есть такой театральный институт» — «А ты что, актер будешь?» — «Не актер, театровед». — «Ну, пойдём», — я сказал. «Пойдём» — «А почему ты туда пойдешь?» — «А у меня замдиректора там».

И.С.: Кто, кто замдиректора?

В.Г.: Алперс, Борис Владимирович. «А это мой, — говорит, — как бы приемный отец. Отец мой на фронте исчез, а я под опекой Бориса Владимировича. И он мне, значит, сказал: ты только подай документы, и там все будет в порядке». Я говорю — пойдём. И все, никакого интереса: ну, пойдём, чтоб пойти. А тогда консультация там была — в палисадничке перед оградой.

И.С.: Консультация? Во дворе?

В.Г.: Да, во дворе.

И.С.: Как во дворе консультация? Столы стояли?

В.Г.: Перед приемом.

И.С.: Столы стояли просто? Или что там — как, сидели? Как это было?

В.Г.: Сидели. Там скамеечки, там и сейчас такие скамеечки стоят.

И.С.: Там просто на скамеечке сидели?

В.Г.: На стуле сидела, Роза Яковлевна такая легендарная замдекана...

И.С.: Прямо во дворике?

В.Г.: Во дворике. И я как увидел двух красоток — Наташка, с которой мы сейчас расстались, вот недавно... недавно похоронили ее... Наташка.

И.С.: Какая?

В.Г.: Наташка Лозинская. Ну, моя сокурсница. А Валя, ее подружка, спилась и давно уже ушла из жизни.

И потом, когда я услышал самого себя и увидел, что я вызываю интерес, я сказал: нет! А Никита мой как-то так присмирел, и как-то я...

И.С.: А Мотя (*Моисей (Матвей) Иофьев (1925–1959) — искусствовед и театральный критик. Прим. Ред?*)

В.Г.: А Мотя... какой-то странный человек, который задавал мне такие вопросы какие-то — очень дружелюбный, очень...

И.С.: То есть, подошел какой-то странный человек...

В.Г.: Ну, подошел...

В.Г.: «Какие твои любимые писатели»? Я сказал... «Анатоль Франс». — «О-о-оооо!» И страшно я заинтересовал вот этого загадочного человека. «А что вы читали? А, понятно!» Не выдавая своей насмешливости совершенно, а оказалось потом, что они хохотали надо мной! Потом он это мне рассказывал. Самовлюбленный дурачок, пришел! Ну, все, я сказал, отсюда — нет, никуда — когда я вспомнил бородатых этих своих математиков — и двух красоток совершенных, одна другой лучше! [...] Ну, значит, я еще раз пришел, еще раз, а потом начались эти экзамены, где я просто так — причем надо было это все, сначала устно, потом письменно...

И.С.: А письменное — что? Что сдавали?

И.С.: Письменное сдавали — я написал, действительно, первую свою работу — по-видимому, она была хорошая...

И.С.: Рецензию?

В.Г.: Да, рецензию.

И.С.: А на что?

В.Г.: Спектакль Камерного театра, шел знаменитый спектакль, в котором Гайдебуров играл, там, у Таирова, это такой знаменитый актер, ваш петербургский, из Нардома вашего, который был закрыт, прошел [тяжелый путь], а потом вернулся, поставил два великих спектакля. Это — они вместе в Народном доме начинали еще до революции с Таириным, пути разошлись, Таиров стал Таириным, а этот куда-то там... Великий актер, кстати говоря, о котором мало кто знает! (Ну, так-то театральный мир знал его, конечно). И я написал вполне понятно...

И.С.: Какой спектакль-то?

В.Г.: Два. Он пришел и — горьковская пьеса, когда возвращается с каторги человек и начинает тиранить свою там... Горького пьеса, замечательная, ну — Горький знал, что писать. Это абсолютно потом повторилось на моих глазах, я это видел в семье Марецких, когда вернулась любимая старшая сестра из лагеря, и как она начала тиранить приютившую ее младшую — Веру (*В действительности Вера Петровна Марецкая была старшей сестрой, Татьяна — младшей. — прим. Ред.*), потому что когда ей было девять некуда, [она взяла ее к себе. И та говорила ей:] «Ну, а я там, а ты тут». В открытую. Пока она просто из-за нее не умерла.

И.С.: Марецких?

В.Г.: Марецких. Ах, а что ей сказать? Да, ты там, а я тут. Хотя она все, что могла, делала, но она ничего не могла. Но ничего не получилось. Брат был расстрелян, любимый брат, это был такой бухаринский ученик, любимый очень... А сестра попала за брата, даже не за свои дела, за брата.

А это, значит — не «Фальшивая монета», другая пьеса... «Старик»! называется....

И.С.: А, «Старик».

В.Г.: Да. И старик сам Гайдебуров был. О! Он знал, что играет. А дальше было собеседование, я в первый раз увидел своего учителя, Бояджиева.

И тут я их всех совершенно поразил, потому что на обычный вопрос: «Почему вы приходите в ГИТИС на театроведческий?» — на это обычно отвечают: «Потому что я люблю театр» — обычный ответ, а я сказал: «Потому что я люблю театральную критику!» — «А кого вы знаете?» — я всех знал.

А потому что меня на самом деле страшно интересовало это дело — я читал... Я всех знал! Меньше всего думал, что я буду этим заниматься! Но меня это интересовало, я только не знал, что мой интерес возник до моего ощущения, что это мое призвание, а интерес был, я все читал. Я знал всех их, и это настолько поразило их всех — первый раз за все это время...

И.С.: Что они приняли?

В.Г.: Тут же! Пятерка и все, и готово, а дальше, вообще говоря, дальше были в основном ребята или приезжие, или с войны, у них был свой грант, то есть, своя доля. Пришедшие ребята. Но их особенно брали...

И.С.: Фронтвики, да?

В.Г.: Фронтвики, их брали. Но часть нам давали. Но я был подготовлен все-таки. Хотя я не готовился совершенно... Единственное, что я умел делать — это решать тригонометрические и математические задачи запросто. А это там у меня не проверяли.

И.С.: А как же плохие сочинения?

В.Г.: Вот — в первый раз я написал что-то хорошо, в первый раз.

И.С.: На экзамене вступительном.

В.Г.: На экзамене.

И.С.: А что еще было, какие были еще вступительные экзамены?

В.Г.: Нет, все как полагается.

И.С.: И собеседование было?

В.Г.: Было собеседование — вот, про которое я сказал.

И.С.: Собеседование, рецензия... Нет, как — в садике собеседование, вот это и было собеседование?

В.Г.: Это и было собеседование.

В.Г.: А когда я стал сам работать, я превратил свои консультации именно в собеседования. Только абитуриенты об этом не знали — что мы с Ленькой на этих консультациях примерно выясняли, кто они такие.

И.С.: Когда стали работать в РГГУ.

В.Г.: Да.

И.С.: Консультации с Леней Козловым, с Леонидом Козловым.

В.Г.: Мы сразу понимали, кто чего стоит, — сразу же. [...] Вот. А эта Роза Яковлевна — великая женщина, которая меня дважды спасала, когда меня — меня ж четыре раза из ГИТИСа выгнали — четыре!

И.С.: Как, четыре, не три? Четыре?

В.Г.: Нет, три меня в начале, а четвертый раз меня выгнали по академической неуспеваемости, Асеев поставил мне двойку за работу годовую. И это значит безоговорочно...

И.С.: А три раза за политические дела? За космополитизм.

В.Г.: Да, за космополитизм. И каждый раз Матвей (*Директор ГИТИСа Матвей Алексеевич Горбунов — прим. ред.*) (не Мотя Иофьев, Мотя мой, а его звали также), новый директор, сменивший Мокульского, меня восстанавливал!

И.С.: Значит, новый директор, восстанавливал. Расскажите, пожалуйста, про нового директора, как он сменил Мокульского?

В.Г.: [Мокульский] был аристократ, человек выдающихся знаний, умений, вообще такой выдающийся человек, абсолютно. Не только в театроведении, он был первый, но и по западному, один из первых был здесь.

И.С.: По западному искусству.

В.Г.: По западной культуре, вообще. Ну и, вообще, человек культуры, конечно. И его сняли. И пришел Матвей Горбунов, отчества не помню, полковник из армии, из действующей армии, что очень важно.

И.С.: В каком году это было?

В.Г.: В 49-м.

И.С.: А, в 49-м, то есть, это именно та кампания, Мокульского убрали именно в этот момент.

В.Г.: Да, убрали...

И.С.: То есть, это было частью этой кампании?

В.Г.: Мокульского убрали, и в назидание [поставили человека], совершенно далекого от какого бы то ни было искусства, от театра.

И.С.: В назидание!

В.Г.: Он так и не научился звать актеров актерами. Он всегда говорил «игрок»: «лучший игрок такой, лучший игрок такой», и у которого, как я это понял, не сразу, но понял, и по-моему, раньше других понял: а чего это он нас всех [восстанавливает]? Про меня вот трижды был приказ сверху от министерства о моем отчислении, и трижды он меня восстанавливал. Причем вызывал меня на собеседование...

И.С.: Студента!

В.Г.: Да.

И.С.: Студента третьего курса.

В.Г.: Я совершил, конечно, поступок неблагонадежный...

И.С.: Какой поступок?

В.Г.: Сейчас расскажу. Причем, он не только меня — он восстановил всю профессию!

И.С.: Ну, как известно, там профессоров выгнали, аспирантку Вишневскую — и вас.

В.Г.: Всех, всех восстановили. Только, конечно, уже не на прежних должностях, но кто хотел — пожалуйста. Не сразу. И я понял, в чем дело. Потому что провела эту кампанию ГЭБуха: и это была кампания не столько идеологическая, сколько антисемитская, и это делало ГБ совершеннейшее, и представитель ГБ, Витя Залевский, наш коллега, который там работал, возглавлял комиссию по проверке, меня собственно, и подставил. Все это шло от ГБ. А Горбунов как действующий полковник в армии, особистов ненавидел больше, чем кого бы то ни было: особистов.

Текст авторизован.